

О феномене белорусской писательницы Светланы Алексиевич заговорили с появлением ее первой книги «У войны не женское лицо». Парадную правду о войне сменила потрясающе сильная эмоциональная память. Потом были дети войны («Последние свидетели»), войны-афганцы («Цинковые мальчики»), люди, решившие уйти из жизни («Зачарованные смертью»). Документальные повести С. Алексиевич изданы во многих странах мира, по ним снято около 20 фильмов, поставлены десятки спектаклей. Сейчас она слушает и записывает свою пятую книгу «Чернобыльская молитва».

— Светлана, только что посмотрела ваш документальный фильм «Крест»: как ушли из жизни маршал Сергей Ахромеев, защитник Брестской крепости Тимурен Зинатов, поэтесса Юлия Друнина. Вы теперь больше других знаете, почему они это сделали!

— Возможно, я думала об этом больше других, записывая людей, которые решались быть самоубийцами не из-за любви или болезни — из-за краха идеи.

Мы — соборные люди, до сих пор мы не жили со своим одиночеством, а жили с идеей, с коллективом, народом. Нашей религией было государство, которое делало нас соучастниками всего, что с ним было — и страшного, и великого. Гигантский социалистический материк исчезает на глазах тех, кто его обустраивал и заселял. Люди идею, выросшие в ее воздухе и культуре, не могут перенести ее катастрофу.

Я была потрясена степенью одиночества этих людей. Целое поколение жило как бы на улице, дома им нечего было делать.

Теперь нам надо самим добывать смысл жизни, порой вот такой немислимой ценой.

— Легенда или быль, что знаменитая надпись в казематах Брестской крепости принадлежала татарину Тимурену Зинатову. «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина! 22.VII—41 года». И старик повторил эти слова в предсмертном письме в 92-м году, приехав из Усть-Кута в Брест осознанно закончить жизнь, ибо он не смог смириться с тем, как стали жить ветераны и как стали к ним относиться.

— Это правда ушедшего от нас человека, и ее надо уважать и уважить. Но у правды бывает роковая черта... Я читала письмо его жены, в котором та пишет, что пора была картошку копать, а он сказал, что ему надо в крепость, собрался и уехал в Брест. Всю жизнь его не интересовало, что на дачу надо ехать или ведро воды принести. Только крепость. Он всю жизнь был ее пленником. Но это ведь тоже трагедия!

Фильм «Крест» (мне хотелось назвать его «Крест справедливости») мы делали с молодым московским режиссером Геннадием Городним. Он из другого поколения, которое не признает бессмысленных — за идею — смертей; тем интереснее было работать. Смысл этого фильма — мы больны справедливостью. Все наши трагедии оттого, что нам хотелось все справедливо поделить — поэтому друг на друга с вилами шли...

— Светлана, а не создается ощущение, что мы своих старших зажали в страшный духовный ГУЛАГ: не так жили, не так воевали, не в то верили...

— В «Зачарованных смертью» у

меня есть история человека, который воевал в сорок первом и не думал, что когда-нибудь услышит: «Зачем ты победил? Мы бы сейчас баварское пиво пили». Он вспоминает, что за всю жизнь хорошо ему было только на войне, несмотря

на жили иначе.

— А может, с мифом жить и выжить легче!

— Больше всего меня не отпускает самый страшный миф XX века, что человеческая жизнь чему-то равна! Революции, пятилетке, спасенному колхозному трактору, Горбачеву, Ельцину, национальной идее. Никто меня сегодня не убедит после трех собственных книг о двух войнах, после Шаламова и Разгона, после Булгакова и Замятина, после Карабаха и мертвой девочки из Абхазии, что есть что-то равное человеческой жизни.

— В прошлом году вам при-

шил Геннадий Тростенецкий, он опять хотел бы ставить в «Ленком» «Цинковых мальчиков». Опять умирают сыновья на своих баррикадах и чужих войнах.

— Я знаю, что вы были очень дружны с Александром Михайловичем Адамовичем, говорят, это он подарил вам идею первой книги и в трудные годы всегда подставлял плечо.

— У меня были очень тяжелые ощущения на похоронах Алеся Адамовича. Мальчишкой воевал с фашизмом и кончил жизнь, воюя с фашизмом — сердце у него остановилось прямо в зале суда. Вся

верия к природе). Мне кто-то сказал: я помню, как наша кошка плакала.

Кстати, в «Войне...» у меня есть эпизод: немцы бомбили эшелон с ранеными, к которому было прицеплено два вагона с лошадьми. Кричат раненые, кричат животные. И вот женщина вспоминает: все живые бросились первыми спасать лошадей, а не людей.

Милиционер, которому надо было в опустевших чернобыльских деревнях расстреливать все живое, сошел с ума. Кошки, собаки, гуси, куры, лошади вначале шли на человеческий голос, потом ста-

Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: МЫ РОДОМ ИЗ СОЦЛАГЕРЯ И ДУМАЕМ ПО-ЛАГЕРНОМУ

трян на кровь, вши, смерть... Там было все понятно — одна Родина и один враг. И никогда люди так не любили и не жалели, как в войну... Он пошел в школу внука, куда в музей отдал самое дорогое — гимнастерку жены, свой хирургический скальпель... А на дверях музея, наваждение какое-то, другая вывеска — малое предпринятие: «Сейчас мы никому не нужны... Вымирающее племя... Динозавры. Нас боялись, как чумных...»

Легко говорить о расстрелянном, растерянном поколении — «не так...» Я не могу этого сказать конкретному человеку, своему отцу — не могу убить его стыком правды: гитлеровский фашизм победили, а сталинский укрепили.

— Значит, есть что-то выше идеи и правды!

— Жизнь человека. Сегодня мы должны говорить об ответственности идеи. Идеи — убийцы, хотя это не снимает личного греха.

Мы должны говорить и об ответственности христианства с его идеей жертвы, и об ответственности военной литературы с ее мерой — человеческая жизнь.

Несколько лет назад мы ездили по Белоруссии вместе с немецким режиссером Хелькой Зандер. Проехав километров двести, насчитали пять памятников Ленину, семь курганов Славы, шесть танков на постаменте... Как будто может быть что-нибудь выше тех тысяч братских могил на нашей земле!

И не потому ли так легко лететь кровь на окраинах бывшей империи, что мы слишком много говорили и писали о войне?

В нашей истории нет ни одного поколения не с военным опытом, а с опытом просто жизни. Мы или воевали, или вспоминали о войне, или готовились к войне, и никогда

шлось пережить тяжелый судебный процесс над книгой «Цинковые мальчики». Документ о преступлениях афганской войны вплотную столкнулся с массовым сознанием долга и героизма.

— Сначала робко афганскую войну называли политической ошибкой, теперь — преступлением. Все хотят забыть Афганистан. Забвение — это тоже форма лжи. Матери остались один на один с могилами своих мальчиков. Их горе превышает любую правду. Какие бы оскорбления я ни слышала от них в зале Центрального суда города Минска, я преклоняюсь перед матерями. Сегодня только матери защищают погибших сыновей.

— Да, палачей нет. Все — жертвы. Все — во имя Родины. Во всем виноваты вожди. Такая механика мысли ведь может породить нового массового послушного агрессора.

— Когда мать, у которой государство забрало сына и вернуло его в цинковом гробу, испуганно, молитвенно кричит: «Я люблю ту Родину! За нее погиб мой сын! А вас и вашу правду ненавижу!» — снова понимаешь, что мы были не просто рабы, а романтики рабства. Только одна мать из тех ста, с которыми я встречалась, написала мне: «Это я убила своего сына! Я — рабыня, воспитала раба...»

— У меня ощущение, что Афганистан страшным бумерангом возвращается к нам. То, что происходит на афгано-таджикской границе — это отнюдь не региональный конфликт. Это жажда кровной мести северному соседу...

— Да, слишком много оружия мы накопили для той войны, и ружья из первого акта неожиданно стреляют в третьем... Мне позво-

жизнь на баррикадах. А где жизнь? У меня появился некий внутренний протест: я не хочу на баррикады. Хотя я прекрасно знаю, что человек между баррикадами — лучшая мишень для обеих сторон.

— Похоже, вы сейчас в таком положении!

— Одному своему оппоненту я сказала, что моя жизнь больше Белоруссии. И больше России. И больше любой идеи. Что было!..

Происходит такая смена и встряска, что единственное, что можно проповедовать среди этой крови, — это ценность человеческой жизни. Наступает время отдаленности, самоценности человека, парада суверенитетов личностей — каждый из нас должен отделиться, самоопределиваться. А как трудно это сделать, потому что все мы родом из соцлагеря, и мышление у нас лагерное, и опыт лагерьный, который в нормальной жизни, как говорил В. Шаламов, никому не нужен.

— Светлана, так много написано о Чернобыле, а вы спустя семь лет после катастрофы взялись за эту тему. Не страшно?

— Всегда страшно собраться с духом и броситься в омут бесконечного страдания другого человека. Надеюсь, что через год закончу «Чернобыльскую молитву» человека о спасении всего живого и своей души.

Пока осмыслен катастрофа шло на уровне системы, а не цивилизации. Мое же тяжелое ощущение от Чернобыля сегодня — это огромные биологические могильники с вытяжками, напоминающие Дахау. При эвакуации нельзя было брать с собой животных (а катастрофа затронула патриархальную часть населения, у которой многое держится на до-

ли, как от чумы убежать. Там я поняла: а они чем виноваты, с чего человек такое место занял в этом мире? Почему он решил, что может убить дерево, ежика, собаку?

Осмысление этой катастрофы гораздо глубже — человек в круге всего живого. Нельзя мыслить только на уровне антикоммунизма, когда совпали революция социалистическая и космическая. Может, по причине этой заданности мне трудно сегодня слушать Солженицына.

— Когда наконец был отвоеван «час правды», высшим достижением были факты — территории и степень их радиационного заражения. Но чем больше проходит времени, тем меньше вселенская чернобыльская лаборатория вмещается в физические параметры, где люди вынужденно добывают для нас опыт будущего.

— Чернобыль — это Зона, которая таит огромную психологическую и политическую опасность.

Зона делится так: зона, где нельзя жить, — за проволокой. Зона постоянного контроля, временного контроля, отчуждения, грядущего отчуждения... Это все значит — постоянные милицейские посты, на все надо иметь разрешение, если ты хочешь поклониться праху или привезти близких похоронить. Все возвращаются на родину только мертвыми. Контроль еды, задача гуманитарной помощи... Если опасность нового тоталитаризма может откуда-то прийти, то, скорее всего, из Зоны. Мы даже не подозреваем, какое будущее питает Зона: ведь она все время за военное положение, за крепкую руку и власть.

Кстати, Зона сегодня активно заселяется, ее уже освоили рус-

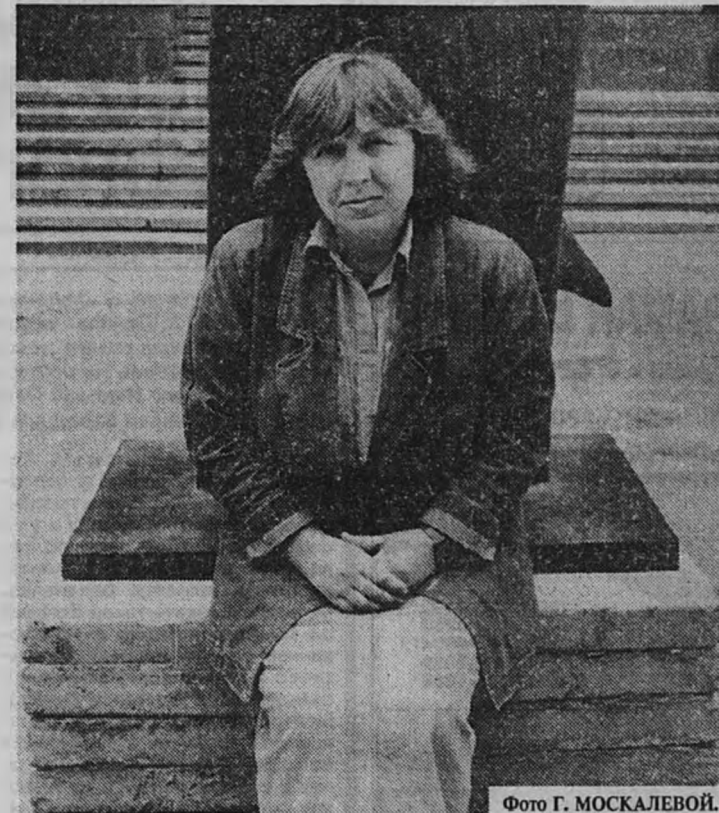


Фото Г. МОСКАЛЕВОЙ.

ские беженцы из Таджикистана. Вот тема для писателя, а прокурор должен выяснять, почему взорвался четвертый блок. Правда, Ежи Ленц говорил, что в конституции всех стран мира надо внести право человека сомневаться в науке. Это актуально после Чернобыля. Есть законы, которые не подвластны ни белому, ни красному флагу, ни со свастикой, ни без. Я не философ, но думаю, что законы общества также нам не подчинены, как и законы природы.

— Писатели сознательно уходят от политики!

— В принципе, да. Я не могу смириться с заявлением ряда уважаемых людей, что сегодня тот час, когда права нации надо поставить выше прав человека.

— А вы чувствуете, как человеческие материи, словно огромные айсберги разносит течение в разные стороны?

— Что-то ненормальное в нашем разделении. У нас общая память, страшная и хорошая, общая психология, общие имена, общие книги. У нас один Пушкин, один Сахаров, одна Белла Ахмадулина... У нас общая знаковая система.

— Но литература, увы, уже не храм...

— Я не поддерживаю сегодняшнего отчаяния: мол, литература не играет той роли... Да, было у литературы особое место, но мы той роли не оправдали, оказались соучастниками всего, что происходило. Не нравятся, когда говорят: вот я не был в партии! Но я же была в этом времени, я была его соучастником. Кто был в психушке, тот, наверное, может честно отделить свое прошлое от приключившейся с нами со всеми истории.

Со многими маститыми писате-

лями мне приходится ездить по Европе. Любимый жанр устного творчества — рассказ, как им было трудно, как их там зажимали. Стыдно. Страна пока в развалинах, в нищете, в униженности, а он вспоминает какую-то крошечную оплеуху себе, которую раздувает до космических масштабов. У меня все было: и книгу запрещали, и первую рассыпали, и судили за последнюю, но это капля в катастрофе, мне стыдно показывать свою царапину, когда вокруг люди в рубищах, которые пока могут два яйца да сто граммов колбасы купить.

Когда я вижу по телевизору некоторых наших кумиров, чтобы сохранить прежнее ощущение, я просто телевизор выключаю: пользуются словами, которые никакой силы не имеют, а они все произносят прежние заклинания. Пусть интеллигенция будет валютной, какой угодно, но чтобы она на особую роль проповедника не претендовала. Говорят, когда пьяный батюшка в церкви, то ничего страшного, значит, сам Бог слушает. А когда писатели, как экстрасенсы, всем дают советы, как жить, — это ненормально. Еще и обижаются, когда им за это меньше платят.

Это фантазия — общество социальной справедливости, его нет и не может быть. Мы обречены быть, как все.

— Светлана, неужели все так беспросветно! А чем же утешится человечество!

— Только жизнью. Уважением ко всему живому.

— Это формула этики Альберта Швейцера.

— Я ее тоже выстрадала, со своим, увы, военным сознанием.

Ядвига ЮФЕРОВА.

«Известия».

МИНСК.